ОЛЖЕС ТАТАРИН

серия романов «КСАНТИЯ»



КНИГА ПЕРВАЯ

СЧЁТ НА ЧЕЛОВЕКА

18+

мистический детектив · 18+

Олжес Татарин

Ксантия. Счёт на человека

«Автор»
2026

Татарин О.

Ксантия. Счёт на человека / О. Татарин — «Автор», 2026

..... не было завтраков. Люди уходили на работу до рассвета и возвращались затемно, обходя короткие пути через пустыри, — и к декабрю город привык к страшному слову «Садовник», произносимому с той интонацией, с какой обычно произносят названия ураганов. Над могилами росли цветы, подобранные с садоводческой дотошностью: мак над пекарем — потому что мука; фиалки над медсестрой — потому что белые халаты. Газеты писали «посмертная эпитафия по профессии». Прокуратура писала «серийный убийца». Никто не писал главного: это было на самом деле любовь.Дело легло на троих случайно. Психиатр Зарин, умеющий задавать вопросы, от которых собеседник не сразу понимает, что его спросили. Быстрый и удачливый Поладин, у которого о золотой печатке говорят больше, чем о делах. И аналитик-вдовец Канов, который не ищет убийцу — он ищет закон, по которому располагаются могилы. Человек — это подпись. Карта — это почерк.Пока троица, ещё не знавшая своих будущих позывных — Резец, Серп и Док....

© Татарин О., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТОЧКИ 8
ГЛАВА ВТОРАЯ. ГОСТЬ 12
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВЫЙ УЗЕЛ 16
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ЧИСТАЯ СИСТЕМА 20
ГЛАВА ПЯТАЯ. МАЙЕВТИКА 24
ГЛАВА ШЕСТАЯ. СИРИЯ 28
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. НАБЛЮДАТЕЛЬ 31
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. КУЛАГИН 35
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Олжес Татарин
Ксантия. Счёт на человека

Пролог

«Одушевлённое орудие лучше неодушевлённого».
Аристотель, «Политика»

Осенью того года в городе не было завтраков. Люди уходили на работу до рассвета, потому что не спали, и возвращались затемно, потому что боялись коротких путей через пустыри — и к декабрю город привык к страшному слову «Садовник», произносимому с той интонацией, с какой обычно произносят название урагана.

Могилы нашли в октябре. Потом ещё, и ещё. Над каждой — растение, подобранное с садоводческой дотошностью: над пекарем мак, потому что мука; над школьной медсестрой — фиалки, потому что белые халаты; над водителем междугородного автобуса — клевер на вытянутой грядке, четыре метра в длину, точно по длине могилы. Газеты писали «посмертная эпитафия по профессии». Прокурорская сводка писала «серийный убийца, демонстрирующий знание флоры и биографии жертв». Никто не писал главного: того, что это на самом деле было любовь. Кто-то очень аккуратный, очень терпеливый и очень влюблённый — в свой сад.

Дело легло на троих случайно, как ложится всё главное в жизни. Старший следователь, у которого оно было в производстве, лёг на больничную койку с инфарктом — организованный человек, он и умирал по расписанию. А троих молодых, которых тогдашний начальник управления, помявшись, свёл в рабочую группу, знали между собой не больше, чем соседи по дачному участку: кивают через забор и всё.

Ренат Зарин пришёл из психиатрии — тихий, тридцатилетний, с привычкой задавать вопросы, от которых собеседник сначала не понимал, что его, собственно, спросили. Сергей Поладин был переведён из отдела по особо важным: строенный, быстрый, с золотой печаткой, о которой говорили больше, чем о его делах. Дмитрий Канов — аналитик, вдовец, старше обоих на десяток лет — пришёл с коробкой карт и разложил их по столу, не поздоровавшись, потому что считал приветствие тратой рабочего времени.

Первую неделю они работали врозь, как и положено трём незнакомым людям. Вторую неделю — уже не могли расстаться, хотя никто из них этого не произнёс вслух.

Канов нашёл первым. Он не искал убийцу — он искал закон, по которому располагались могилы, и сделал это так, как делают истинные диагносты: отложил в сторону биографии жертв, возраста, связи, всё, что предлагала методичка, и нанёс на карту только точки. Точки легли в окружность радиусом четыре километра. Центром окружности был питомник, закрытый в девяностых, — тридцать гектаров вырубленных яблонь, тридцать гектаров чертополоха.

— Он не выбирает места, — сказал Канов, ткнув карандашом в центр. — Он восстанавливает сад. Когда-то здесь росли все эти растения. Он сажает их там, где они росли, и хоронит рядом тех, кто по его классификации им соответствует. Пекарь под маком — там был мачтовый ряд. Мы ищем связь между людьми. А надо искать связь между могилами. Человек — это подпись. Карта — это почерк.

До сих пор в управлении об этом деле говорили «серия убийств». После слов Канова стали говорить «питомник».

Зарин в ту же неделю снимал допрос с продавца садового центра — робкого мужчину с обкусанными ногтями, который поставлял Садовнику рассаду и теперь, понятное дело, со

всех сил изобразил из себя человека, ничего не понимающего в собственных покупателях. По бумагам допрос не шёл. Зарин не обвинял и не давил — он спрашивал, ровно и почти ласково:

— Скажите, а когда он вас благодарил? За четвёртый визит. Помните, как благодарил?

— Ч-что?

— Он взял вас за локоть. Или погладил по рукаву. Что-то маленькое. — Зарин чуть наклонил голову. — И вы испугались. Но не за себя. Вы испугались за него — за того, кто это делал. Вам не хотелось, чтобы он пропал, правда? Ему больше некому рассказывать про цветы.

Продавец заплакал на девятой минуте. Адрес, где тот снимал комнату, Зарин получил на одиннадцатой минуте. Правда родилась сама. Ему оставалось только её принять.

Оставался Поладин. Ордер лежал в прокуратуре второй день — по общим правилам этого хватало бы, но не для человека, который в чём-то подобном разбирался быстро, то есть с нарушениями. Поладин приехал к старшему помощнику прокурора на дачу, оставил у консьержки не деньги — позже он сам не смог бы внятно объяснить, что оставил, — и к вечеру ордер был. С материалами в машине поехала пара перчаток с волокнами. Никто из троих потом не выдвигал официальных версий, откуда они взялись; Канов лишь неделю не разговаривал с Поладином, а Зарин, глядя на его молчание, понял больше, чем из всех объяснений.

В дом на улице Тимирязева вошли рано утром. Хозяин — учитель биологии заочной школы для взрослых, садовод-любитель с тридцатилетним стажем, — не сопротивлялся. Он только попросил дать ему допить чай и спросил, помнит ли кто-нибудь, как цвела в питомнике айва. Никто не помнил. Только Канов, уже выписывая протокол, вдруг отложил ручку и сказал: «Белым цветом. В мае». Учитель биологии кивнул, как благодарят за услугу, и его повели к машине.

Когда поставили точку и по городу прошла оттепель — чиновники говорили «выход из кризисной ситуации» и вставали в очередь к микрофонам, — начальник управления вызвал троих в свой кабинет. Табличку на дверь он повесил новую, а вот в тексте о представлении к наградам случился казус, вошедший в легенду отдела. Секретарь под рукописный черновик подставил не фамилии, а графу инициалов, и начальник, внося правку, над ними запнулся.

— Р. Е. З., — прочёл полковник вслух и осёкся. Повторил, раздельно, с сомнением во взгляде: — Рез?

Он снял очки, протёр рукавом, посмотрел на строку снова.

— С.е..э..Р. П. Серп? — Пауза. — Д. О. К.а..а. Док., — утвердительно, как догадку подытожил.

Полковник положил перо и хмыкнул.

— А ведь точнее и не придумаешь. Док — вы, Канов: вскрываете всё, что мы годами закапываем. Резец — вы, Зарин: снимаете всё лишнее, до человека доходите. Ну а серп… — он посмотрел на Поладина, — серп кому?

— Мне, — сказал Поладин, сияя, как награду получают. — Урожай собирают зрелый, товарищ полковник.

Начальник управления так и не узнал, что он только что произнёс главную оценку их работы за шесть лет вперёд. Позывные пришли в отдел вместе с черновиком приказа и остались — как остаются шрамы: сначала казались уродством, потом стали приметой, потом — частью.

Канов инициалы в блокноте тогда обвёл кружком. Никто не спросил зачем. А он, уйдя вечером последним, догадался раньше всех: имена, придуманные в шутку, сбудутся. Рано или поздно каждый из них станет вести себя как свой инструмент. И когда в будущие годы им будут говорить «Резец, ты его сейчас доконаешь» или «Серп, чей это почерк?» — они будут помнить полковника с черновиком и доску в оперсоставе, где имена впервые легли в строчку, как загадка, которой никто не задавался.

Р. Е. З. С. Р. П. Д. О. К.

Даже тогда, в комнатном тепле и запахе остывшего чая, строчка выглядела как рецепт чего-то большого, что варится за городом.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТОЧКИ

В кабинете Дмитрия Остаповича Канова было темно, и это было правильно. Настольная лампа горела зелёным абажуром вглубь стола, на столе лежали карты — восемь штук, одна на другой, как листы таблицы Менделеева, — и Канов сидел над ними, подперев подбородок рукой, уже четвёртый час.

Он не читал. Он смотрел. Разница между этими двумя занятиями была всей разницей между ним и остальным управлением.

— Товарищ Канов, — заглянул в дверь дежурный. — Вы там живёте или работаете?

— Аристотель задавался вопросом, чем деятельность отличается от движения, — сказал Канов, не поднимая головы. — Движение имеет конец: дошёл — и всё. Деятельность содержит цель в себе самой. Для человека, который закрывает дела, разница жизненно важна: закончить — значит остановиться. Завершить — значит исполнить. — Он чуть повернул лицо: в темноте дежурный не видел, что тот не спал вторые сутки, — так что я, выходит, не работаю и не живу. Я завершаю. Закройте.

Дежурный постоял в дверях, чувствуя себя человеком, который постучал не в дверь, а в чью-то биографию, и закрыл.

В темноте снова стало слышно, как за окном, на девятом этаже, гудит вечерний Ксантия: фуры на кольцевой, погудки портовых кранов, где-то наверху — самолёт, идущий на посадку в Ксантийский аэропорт, который чиновники на совещаниях называли «воздушными воротами двух округов», а таксисты — «ямой с дипломом». В маршрутках на Павловскую кондукторы уже перестали просить мелочь — вместо этого слушали, как пассажиры пересказывают друг другу сводки, каждый — свою, в свою пользу. Город жил, город работал, и в этом гуле растворялись девять человек, которых в Ксантии за последние шесть недель стало на девять меньше.

Официально — «без вести пропавшие». Неофициально — «пустые квартиры, снятые с учёта сим-карты, ноль ориентировок на выезд». Девять человек, и Канов уже знал про них то, чего не знала сводка: все девять работали в двух учреждениях. Налоговая инспекция по Ксантийскому району. Управление портового хозяйства. И ни один из девяти не был при этом убийцей, должником, пьяницей или человеком, о котором можно сказать «наверно, ушёл к другой женщине». Они были бухгалтерами, инженерами связи, начальником отдела сертификации. Люди, у которых отняли бы не деньги и не жизнь, а *пост*.

Канов взял верхнюю карту и положил рядом восьмую. На карте города стояли девять точек — адреса пропаж. Он смотрел на них так, как хирург смотрит на снимок: не на рану, а под неё.

Идея была простая, и потому за неё было стыдно держаться так долго. В «Деле Садовника» — а он иногда возвращался к нему в мыслях, как возвращаются к первой любви: не потому, что хотел, а потому что на нём научился, — он тогда совершил один ход, который потом преподавал молодым на своих занятиях, именуемых в отделе «Ликейской школой»: *отложи в сторону людей. Люди — это подпись. Схема — это почерк.* Тогда он нанёс на карту могилы и увидел окружность. Теперь он нанёс на карту людей и увидел…

Вот тут была проблема.

Точки не ложились в окружность. Они ложились в *сетку*. Не в круг, не в цепочку, не в зигзаг — в решётку, но решётку редкую, неравномерную, как шаг лестницы в старом доме: тут ступень, а тут провал. Три точки стояли на одной вертикали через квартал друг от друга — все три из налоговой. Две — по диагонали от портового управления. Одна висела отдельно, ближе к заводу ферросплавов, и одна — за рекой, в спальном районе, в доме, который Канов помнил по старым сводкам: там сидела контора, занимавшаяся разрешительной документацией на грузовики.

Он провёл карандашом четыре линии. Сетка сомкнулась.

— Хм, — сказал Канов вслух, в пустой кабинет.

Если бы это был заказ на убийство, сетка была бы логична: убирают цепочку согласований — юриста, бухгалтера, сертификатора — чтобы остановить или развернуть какой-то поток. Но убивать для этого не нужно. В Ксантии, чтобы выбить человека из кресла, хватало компромата, проверки, предложения «перейти в другое место с повышением». Убийства — инструмент огнемёта там, где задача требует скальпеля. Значит, либо заказчик был дураком, либо…

Либо убийств не было.

Канов отложил карандаш. Это решение далось ему тяжелее, чем всё предыдущее: он ненавидел версии, которые нельзя было взвесить. Но факты были фактами: ни одного тела, ни одной крови, ни одной вещи, ни одного свидетеля. Только исчезновения. А исчезновение — это не улика. Исчезновение — это вопрос, заданный в темноте, и отвечать на него должен не криминалист, а тот, кто знает, где искать.

Он взял чистый лист и написал по-старому, от руки, потому что от руки мысль идёт медленнее, а медленная мысль не врёт:

Кто и зачем вычищает из двух ведомств Ксантии девять человек? Если не убивает — то что делает? Перевозит? Вербует? Пугает?

И под этим — второй вопрос, который не поддался ему совсем, и потому он обвёл его в кружок, как когда-то обвёл в блокноте инициалы, которые сбылись:

Почему сетка такая ровная? Ровность — признак замысла. Но замысел, который оставляет после себя девять пропавших и ноль улик, — это либо очень умный замысел, либо очень терпеливый. И то и другое хуже дурака.

Канов посмотрел на часы. Полночь. Он сложил карты в коробку, потушил лампу и, уже стоя в дверях, обернулся на кабинет. На стене над доской висела фотография — женщина в белой блузке на фоне моря, снимок двенадцатилетней давности, единственная фотография, которую он не снял после её смерти, потому что убрал её в рамку и забыл, что рамку надо протирать. Она смотрела на него сквозь стекло, мутное от пыли, и не спрашивала ничего, как всегда.

— Сетка, — сказал ей Канов. — Кто-то чистит город, как логово перед родами.

Потом он снял очки, протёр их краем рубашки и сделал то, чего не делал полгода: подошёл и протёр рамку. Тем же платком, которым протирают оптику, — два движения, сверху вниз. Стекло просветлело, и женщина на фоне моря стала ближе на один слой пыли. Канов смотрел на неё секунд десять — не «вспоминал»: он специально не вспоминал, потому что вспоминать было нечем, была только привычка. Привычка была вещиная: раз в полгода протирать рамку. Он проводил по стеклу пальцем — проверить, есть ли развод, — развода не было, и он снова надел очки.

— Всё, — сказал он в пустую комнату, как отчитываются перед комиссией, которая никогда не придёт. — Работаю.

Он не любил метафор. Но иногда метафора была точнее протокола, и тогда он позволял себе говорить её вслух, один, в пустом кабинете, где никто не мог её услышать и потом цитировать в графе «необоснованные версии».

Утром в управлении произошли два события, из которых первое было обычным, а второе — нет.

Обычное: начальник отдела вызвал Канова и сказал, что материал по исчезновениям передают ему — «потому что ты, Дмитрий Остапович, единственный, кто видит в этих делах не девять тетрадок, а одну». Канов кивнул и не сказал, что девять тетрадок как раз и видит — только не в них дело.

Необычное случилось в коридоре. К нему подошёл опер из отдела по борьбе с незаконным оборотом — молодой, вежливый, тот, что год назад проходил у Канова стажировку, — и, оглядываясь, сказал почти шёпотом:

— Дмитрий Остапович. Вы по портам копаете. Вам по ходу надо бы знать одну вещь, только это не я говорил.

— Говори.

— По нашим линиям последние два месяца идёт вал. Не тот вал, что раньше — раньше везли криво и воровато, а сейчас везут *чётко*. Два судна в месяц, один маршрут, одна фирма-перевозчик, и на всех бумагах — подпись одного и того же аудиторского центра. Раньше такого не было. Раньше всякая мразь друг у друга тырила. А тут кто-то — как по нотам. Опер замялся. — И ещё. Парни с набережных говорят — а набережные в этом городе все вслух говорят, уж вы простите, — что в городе появился *покупатель*. Не покупатель, а… покровитель. Деньги витториевы, говорят. То есть — белые, длинные и с одной стороны.

— Витториевы? — переспросил Канов.

— Ну… какие-то витториевы. Может, я не так расслышал. Может, витринные. Но фирма, Дмитрий Остапович, называется «Витторио Инвест». Регистрация итальянская, филиал тут. Занимаются, по бумагам, реконструкцией порта.

— Реконструкцией, — повторил Канов.

— Ну да. И почему-то у них в штате — юрист по разрешительной документации на грузовики. И бухгалтер со знанием налоговой отчётности. И инженер связи. Три позиции. Все три — с одной вакансии, уволенные или «переведённые» люди из тех самых двух контор, по которым вы работаете.

Канов стоял и не говорил ничего. Внутри у него что-то тихо щёлкнуло — так щёлкает последний элемент в схеме, когда картинка сходится. Точки на карте. Десять человек в штате одной фирмы. Чёткий вал на линиях порта. Аудиторская подпись на всех бумагах. Покупатель, которого никто не видел, но чьи деньги уже называют по имени — и имя это итальянское, аристократическое, с ударением на первый слог.

— Слушай, — сказал Канов тихо. — А зачем тебе было ко мне приходить? Тебе это, по-твоему, не по профилю?

— Мне это по совести, — сказал опер и ушёл.

До конца дня Канов работал молча и в одиночестве. Он не разрабатывал версий — он *сортировал* факты, как сортирует коллекционер: по эпохе, по достоверности, по силе. К вечеру у него на столе лежал лист с четырьмя колонками, и в четвёртой колонке — единственной, которая была ему нужна, — стояло одно слово.

Не дестабилизация.

Он не знал, откуда взялась эта уверенность — не из фактов, а из их *формы*. Если бы кто-то хотел развалить порт, он бы не вычищал людей по сетке — он бы устроил скандал, пожар, проверку, что-нибудь шумное. Шум — это способ быстрых захватов. А здесь не было шума. Здесь было *обустройство*. Кто-то вынимал из города кривые шестерёнки и вставлял на их место — свои. Люди, которых держали в штате «Витторио Инвест», были не жертвами. Они были *инвентарём*.

Кто-то очень терпеливый строил в Ксантии не преступную группу, как это понимало управление, — а управление. Своё. Тихое, чистое, идеально подогнанное. И через год-два, когда придёт время открыть счёт и назвать имя, у этого «кто-то» уже не будет нужды ни прятаться, ни бояться, ни воевать: он просто войдёт в кабинет мэра или в кабинет начальника портового управления и скажет: «Теперь тут я».

Канов смотрел на это слово — *не дестабилизация* — и не знал, что с ним делать. По инструкции материал с формулировкой «системный захват ключевых постов в городе» подле-

жал немедленному докладу наверх. По логике — наверх тоже: это уровень не отдела, а округа. По инстинкту — Канову было не по себе. Он чувствовал за этой сеткой не преступника. Он чувствовал *порядок*. А порядок, который не боится ни закона, ни свидетелей, ни времени, — это самый страшный порядок из всех существующих, потому что его нельзя ни убить, ни посадить, ни подкупить. Его можно только либо принять, либо остановить. И Канов не знал ещё, как.

Вечером, уже собираясь домой, он наткнулся взглядом на блокнот, лежавший в верхнем ящике стола — старый, с обложкой, потёртой на углах. Открыв его наугад, он попал на страницу шестилетней давности: Р. Е. З., обведённые кружком, С. Р. П., Д. О. К.

Он посмотрел на эти инициалы долго. Потом взял ручку и под ними, по-прежнему от руки, написал новое — на этот раз не инициалы, а просто имя, которое его сегодня произнесли чужие уста, и которое он сам пока не был готов произнести вслух:

Витторио.

И обвёл его кружком.

«Исчисляет число звёзд, и всем им даёт имена».

Псалом, 146:4

ГЛАВА ВТОРАЯ. ГОСТЬ

Номер 1408 в отеле «Гелиос» занимал весь четырнадцатый этаж, и это было правильно, потому что Вензель с самого детства знал: человек получает ровно столько места, сколько требует его сущность. Маленькие люди живут в маленьких комнатах и умирают в маленьких гробах. Он не собирался делать ни того ни другого.

Номер имел свой лифт, свой коридор, гостиную с панорамным окном на двенадцать метров, в котором вечерняя Ксантия лежала внизу, как сервированный стол: огни порта слева, огни делового квартала справа, посередине — тёмная полоса реки, на которой ничего не горело. Игорь Георгиевич Вензель стоял у этого окна с бокалом виски, выдержка которого стоила больше, чем месячная зарплата следователя, и чувствовал себя человеком, чья жизнь наконец началась.

Тридцать семь. Четырнадцать лет после училища. Четырнадцать лет — чужие кабинеты, чужие столы, чужие пересдачи аттестаций и чужие тосты, поднятые не за него. Отец говорил: «Служи, Игорёк, служба всё расставит». Служба расставила так, что в тридцать семь он стоял в городе, о котором до прошлого месяца не знал ничего, — и это было первым местом в его жизни, где всё расставил он сам.

Он полюбил этот вид с первого взгляда — и не потому, что он был красив. Потому что он был *покорён*. Города, как женщины, делятся на тех, кто тебе откажется, и тех, кто уже не может. Ксантия не могла. Уставший портовый город с жирным блеском денег в трещинах — такой город не сопротивляется тому, кто приходит уверенно. Он вздыхает и открывается.

На столике у окна лежал тонкий портфель. В нём — папка «Витторио Инвест», которую Вензель сам же и составил: договоры субподряда, сметы на реконструкцию грузового терминала, гарантийные письма. Два месяца работы — и он уже сидел внутри городской экономики, как сидят в чужой квартире, выдавая себя за сантехника: никто не спрашивает документы, пока ты держишь в руках ключ.

Нашёл он эту квартиру — сам. Никто его не приводил, не советовал, не подставлял плечо; в этом и была его любимая часть истории, он прокручивал её, как другие прокручивают первую близость. Два месяца назад, в кабинете папиного старого сослуживца — того самого, что умел «решать вопросы кадровые», — Вензель листал распечатку реестра: девять фирм, имевших в Ксантии отношение к порту. Восемь названий были скучны до зевоты — тресты, логистики, имена с приставкой «транс». А на девятой строке стояло: «Витторио Инвест». Он читал эту строку и чувствовал, как между лопатками расцветает холодная мурашка — так тело узнаёт правду раньше головы.

Он слышал это слово. Не «Витторио» — «Гегемон»: так в Сирии называли ту, вторую, невидимую половину мира, о которой шептались в столовой люди с петлицами, а один полковник — тот, высокий, с голосом, от которого у офицеров делалось тихо, — рассуждал вслух, на смеси русского и древнегреческого, о едином мире без границ, и его речи были запрещены к пересказу, а потому пересказывались всеми. Вензель тогда стоял в конце аудитории, переводчик без права задавать вопросы, и впитывал — не понимая, что тем самым подписывает себе судьбу. И вот теперь, через двенадцать лет, название фирмы, девятая строчка реестра, — и в нём всё встало на место: он не искал работу. Он искал храм. Он вошёл в эту фирму так, как входят в храм по своим билетам, купленным заранее, — и был уверен до последней буквы в собственном заявлении, что всё это устроил он сам: выхлопотал направление, выбрал город, нашёл строку в реестре. Если бы кто-нибудь задал ему один неосторожный вопрос — кто подсказал вам, Игорь Георгиевич, что «Витторио Инвест» и есть та самая сеть, — Вензель ответил бы с гордостью: никто. А правда была бы той, о которой он не имел понятия: он шёл по следу, который кто-то заботливо разметил для него на снегу — флажками, которых он не видел.

— Папочка, — сказал он папке вслух, с нежностью хозяина. — Вот теперь всё правильно.

И тут же услышал звук.

Тонкий, скребущий, неуместный. Мух в номере было, если присмотреться, пять — может, шесть. Они держались у торшера, у штор, у вазы с сухоцветами, которую ежедневно меняла горничная, — и вели себя странно для мух: не суетились, не бились в стекло. Они сидели и ждали, как сидят в приёмной.

Город и правда был похож на стройплощадку, если знать, что строить. И Вензель знал. Он знал это с той минуты в Сирии, когда, оглохший от контузии, лежал лицом в пыли и смотрел, как над руинами поднимается столб дыма — вертикальный, чёрный, единственно правильный предмет во всём кривом мире. Тогда, в звенящей тишине собственного черепа, ему впервые пришла мысль, которая с тех пор никуда не делась: *всё держится на том, кто держит. Хочешь стоять — стань тем, на чём держится.*

Он поднял бокал в сторону окна — маленький тост пустому залу. В виске, там, где контузия оставила не шрам, а просто место, которое он сам называл «моей звёздочкой», тихо заныло — как всегда вечером, как всегда после вида на город с высоты.

— За новых знакомых, — сказал он. — Их пока нет. Но будут.

Утром он играл роль. Роль называлась «консультант по девелопменту» и состояла из пиджака, лексики и улыбки, — и он играл её отлично, потому что тридцать лет тренировался в главнейшей роли своей жизни: «человек, на которого должны смотреть».

В десять он проводил совещание в филиале «Витторио Инвест» — стеклянный куб на набережной, двенадцатый этаж, за стеклом порт, как макет. Совещание вёл он, хотя руководителя филиала звали не он: Вензель давно понял, что власть — это не должность. Власть — это то, чью презентацию смотрят стоя. Он рассказывал про логистику, про сроки, про «синергию с муниципальными программами», и люди кивали, и секретарша наливала кофе в его чашку первой, и где-то на периферии его сознания жил тихий, тёплый, довольный зуд — тот самый, ради которого он всё это делал. Зуд признания. Восемнадцать человек в переговорной смотрели на него — и каждые восемнадцать взглядов были глотком из бутылки, от которой он не мог отвыкнуть с детства.

После совещания к нему подошёл Стрельцов — местный, из «принятых на работу» бывших сотрудников портового управления, самый понятливый из трёх, присланных сверху, но сейчас не важных, — и тихо, вполоборота, спросил:

— Игорь Георгиевич, а те… гости, что в город едут. Их к вам будут?

— Какие гости? — Вензель даже не повернул головы, расстёгивая пуговицу пиджака.

— Ну, которые сверху. Слухи ходят, что к завершению квартала…

— Стрельцов, — сказал Вензель тем ровным голосом, каким говорят с очень умными собаками, — когда сверху кто-то едет, сверху об этом сообщают. Мне. Услышал? — Он улыбнулся, и улыбка была доброй. — Работай.

Стрельцов уработал: кивнул и отступил. Он смотрел вслед Стрельцову и вдруг увидел то, за чем не следил: опер, дойдя до дверей, поправил лацкан — тем самым движением, большим и указательным, снизу вверх. Точно таким, каким его поправлял Вензель. Стрельцов не знал, что копирует жест, — жест копировал сам себя, как копируются манеры сильных теми, кто хочет казаться сильным.

И это было правильно, Вензель мог бы признать. Копировать и должны. Но сегодня, выходя из переговорной, он вспомнил ещё одну вещь — маленькую, плоскую, как гвоздь. Восемнадцать человек смотрели на него. А в углу каждого слайда, на всех восьми листах презентации, стояло слово «Витторио». Его фамилии не было ни на одном. В протоколе совещания он значился как «консультант по девелопменту» — три слова, без имени, без лица, без собственности. Инструмент имеет функцию, а не имя. И сегодня он с отчётливостью, которую

не искал, увидел: его держат в этой системе не потому, что он незаменим. А потому, что пока не выбросили.

— Аристипп учил, что удовольствие — высшая добродетель. А что даёт больше удовольствия, чем видеть, как все смотрят на меня? Значит, моя жажда признания — не тщеславие. Верность философии.

Слова были выучены давно. Он произносил их перед каждой сложной сценой — как тенор перед арией пьёт тёплую воду: не для голоса, для дрожи. Обычай родился ещё в Сирии, а после контузии закрепился в нечто большее: когда он повторял эти фразы, звёздочка в виске переставала ныть. Как будто слова закрывали трещину. Он не задавался вопросом, почему философия вдруг стала пластырем, — люди его склада не задаются вопросами, ответы на которые могут испортить удобную картину.

Он задавался другим вопросом. Тот вопрос он носил в себе два месяца, и сегодня, в лифте, между двенадцатым и четвёртым этажом, он в который раз примерился к нему изнутри, как к выстрелу:

Почему я до сих пор не выстроил здесь ничего своего? Схема — чужая. Папка — чужая. Финансы — чужие. Я — руки. Опять, как всю жизнь, — руки. Чьи-то.

И тут же, привычно, спустил вопрос, как спускают собаку с поводка в толпе — чтобы не кусала своих:

— Утилитаристы смотрят на последствия, — пробормотал он отражению в зеркале лифта. — Если один пострадает, а я достигну цели, которая изменит всё, — приемлемая цена. Я действую ради большего блага. — Пауза. — Моего блага. Это тоже благо. Разница — в арифметике.

Отражение, надо сказать, соглашалось. Отражение вообще было самым благодарным из его собеседников.

Вечером случилось то, что он потом будет вспоминать — правда, недолго.

Он вернулся в «Гелиос» в девятом часу, после ужина с городским чиновником, на котором восемьдесят процентов разговора составляли не слова, а тяжесть платиновых циферблатов на запястьях. В номере было темно, свет не включал: вид на город стоил дороже люстры. Он стоял у окна, расстёгивал запонку, и тут в наступившей тишине — той полной, мертвой тишине, какая бывает в номере за сорок этажей над городом, — услышал звук.

Знакомый. Тонкий, скребущий, неуместный.

Мухи. Их стало больше. Они сидели на шторах, на абажуре, на спинке кресла — десятка полтора, и сидели так неподвижно, что он сначала принял их за пятна. За окном стояла нормальная декабрьская ночь, минус двадцать, за три недели — ни одной мухи в целом городе, он бы поклялся. А здесь, на четырнадцатом этаже отеля, — выводок, который грелся, как кошки у печки.

Вензель смотрел на них долго. Что-то в нём шевельнулось — не страх, он не умел бояться по-настоящему с той поры, как оглох; скорее, холодок другого рода, зуд под кожей, как будто в номере появился гость, которого никто не прописывал.

— Кредитор явился? — сказал он мухам с усмешкой. Он знал поговорки про мух, разумеется, — и махнул рукой, потому что был человеком, который всю жизнь замечал всё, кроме того, что следовало бы. — Символика. Дурная примета. Отец бы сказал…

Он не договорил, чего бы сказал отец, потому что в этот момент в затылке, за звёздочкой, возникла мысль.

Обычная мысль. Рабочая, гладкая, своя — так она, во всяком случае, ощущалась. Мысль пришла легко и вовремя, как приходят лучшие мысли, и была она о том самом деле, о котором он весь день старался не думать:

Тот, кто строит здесь систему, не любит шум. Значит, серия, которая началась в этом городе, для него — не помеха, а визитная карточка. Значит, надо не прятаться от зрителей. Надо дать им то, что они хотят увидеть.

Мысль была отличная. Вензель даже не заметил, что не помнит, *как* он до неё дошёл, — а это, если бы он умел проверять собственные мысли, единственное, что стоило бы проверить. Он просто взял её, как берут поданную на подносе вещь: свою же.

— Ну-у, — протянул он в темноту, глядя на мух уже не с усмешкой, а с прищуром, с деловым интересом. — А ведь вы подсказку принесли. Кто бы мог подумать.

Он кликнул свет. Мухи не разлетелись — что само по себе было неправильно: насекомые не любят света. Они просто пересели в его границы, на торшер, на карниз, и сидели дальше, и в желтом свете было видно, что все они — одного вида, крупные, тёмно-медные, с брюшком, отливающим синевой, как сургуч.

Вензель уснул в двенадцатом, довольный собой. Запах, который он не мог назвать, — тёплый, сладковатый, запах, который он принимал всю жизнь за запах дорогого табака, — стоял в номере до самого утра.

«Вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твоей».
Евангелие от Луки, 16:25

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕРВЫЙ УЗЕЛ

Морг на улице Гагарина — здание послевоенное, с морщинами на штукатурке и очередью у входа, из тех очередей, где люди держат в руках пустые пакеты и не смотрят друг другу в глаза. Сергей Романович Поладин приехал в девятом часу, когда город ещё стоял синий, и постоял минуту перед дверями, поправляя шарф.

Дома он уже успел. Ирина сварила ему кофе — она всегда варила его, когда он уезжал раньше света, молча, и ставила чашку на край стола, чтобы не будить, — и он, как всегда, поцеловал её в макушку, не разбудив. Илья спал, свесив руку с кровати, как плуг — бороздой. Кирилл не спал: первокурснику-медику в полночь не спится, и Поладин, проходя мимо его двери с выключенным светом, слышал шорох страницы и тиканье телефона. Он ничего не сказал. Между ними была та тишина, которая бывает у отцов с сыновьями, когда сын уже вырос, а отец ещё не поверил.

Убитого звали Гольберг Валерий Наумович, пятьдесят четыре года, фотограф-ретушёр, частная студия на Верейской. Нашли в четыре утра дворники — в подвале заброшенного полиграфкомбината. Поладин открыл дверь морга привычным движением, кивнул санитару и пошёл к столу.

Тело лежало под простынёй, и всё в нём было видно уже с порога: то, как положены руки, то, как выставлена голова. Он узнал композицию раньше, чем увидел детали, — и это был первый момент ночи, когда в нём поднялась не жалость, а азарт. Азарт, который он себе запрещал и который, как любое запрещённое, жил в нём жирно и сытно.

Санитар откинул простыню.

На голой груди убитого, от ключиц до солнечного сплетения, лежала выложенная свечными огарками фигура — пятиконечная звезда, вершиною вниз. Свечи были расставлены с ювелирной точностью: расстояние между огарками Поладин оценил на глаз — семьдесят сантиметров, плюс-минус два. Вокруг, по кругу, стояли ещё свечи, и все они были сожжены до разной высоты — уже потом, в протоколе, экспертиза установит: их жгли в определённом порядке, гасили в определённый момент. Это была не декорация. Это был *часовой механизм*: ритуал, отмеренный по времени, как служба.

А на коже — на коже убитого, аккуратно, тонким лезвием, — была вырезана строка.

Поладин наклонился. Строка была не кириллицей и не латиницей — греческими буквами, древними, с надстрочными знаками. Он не знал древнегреческого — и знал два современных языка, — но буквы были отчасти знакомы по иконам, по богослужебным книгам деда. Он переписал строку в блокнот, буква в букву, и почувствовал то, что чувствует человек, который услышал в чужом доме родную мелодию: неузнанное узнавание.

— Время смерти? — спросил он, не оборачиваясь.

— Порядка десяти-двенадцати вечера. Смерть от ножевого ранения, но долго, патологоанатом скажет точнее.

— Долго, — повторил Поладин.

— Долго, — подтвердил санитар с той интонацией, с какой сообщают о вещах, которые и так видны.

Убитый был связан не верёвкой — проволокой, медной, за запястья и колени, и проволока была обмотана вокруг свечей. Он был жив, когда вокруг него расставляли круг. Он был жив, когда зажигали. Он смотрел на огонь столько, сколько длилась служба.

Поладин выпрямился и закрыл глаза — не от слабости. Он всегда так делал на месте преступления, и это было его личной методикой, за которую эксперты посмеивались, а он никому не объяснял: закрыв глаза, он переставал видеть *то, что есть*, и начинал видеть *то, что должно быть*. Мир идей — тот, что за завесой. Преступление, как и закон, — это тень на

стене пещеры: неверно истолкованный свет. Пока другие мерили огарки и снимали отпечатки, он спрашивал у темноты: что здесь *имелось в виду?*

И темнота отвечала, как отвечала всегда.

Здесь имелось в виду — *связь с сетью*. Он не мог бы сказать, откуда уверенность — она была в нём цельная, слитая, как вера; сам он называл её интуицией философа и не врал, но под интуицией лежали факты: Гольберг был тем человеком, через которого в городе, как говаривали знающие, «делались» фотографии, которых не существовало. Ретушировал не портреты. Ретушировал документы, сканы, компромат. Человек-проявитель — узел чужой бухгалтерии зла. Такие люди не живут долго в системе, где идёт война за город. Их меняют, как меняют картридж.

— Сетевое, — сказал Поладин вслух, открывая глаза. — Записывайте: версий несколько, но основная — сведение счётов внутри транснациональной преступной организации, действующей на территории Ксантии.

Эксперт поднял голову:

— Серп, а не рановато? Улики — свечи да надпись. Секта вон в сводках по соседней области…

— Секта — это дым, — сказал Поладин. Он говорил негромко, как всегда, и в этом негромком голосе была та сталь, которую в управлении звали «серповским грузом». — Секта — это то, что хотят, чтобы мы увидели. Посмотрите на порядок свечей. Сектанты не отсчитывают время по огаркам — они молятся о дьяволе и боятся опоздать к дьяволу. А здесь кто-то *исполнял регламент*. У сатанистов — экзальтация, а здесь — дисциплина. У секты — беспорядок, а здесь — *система*. То, что выглядит как сатанинский ритуал, сделано рукой человека, который сатанизмом брезгует. Кто-то говорит с нами не на языке веры. Он говорит на языке организации.

Он не сказал главного — того, что лежало в нём цельно и без доказательств, как лежит костяк в теле: *Гегемон*. Это слово пришло к нему из сводок трёхлетней давности, из закрытых телеграмм, из полубезумных докладов аналитиков о транснациональной структуре, которую никто не мог рассечь. Сеть, в которой нет вождя — а есть стандарты. Нет криков — а есть регламенты. Он был уверен — и его уверенность была настолько тотальной, что сама звучала как доказательство, — что Гегемон пришёл в Ксантию. Что порт, исчезновения, этот убитый фотограф — всё это не хаос, а *инженерия*. И что его дело — то самое, ради которого он носит погонами чин и дома читает сыну Платона.

Дома он говорил Ирине, что служба — это служение. И говорил искренне.

Важное он сделал в первый же день: выписал строку, вырезанную на коже, и отнёс её не в экспертизу — к Зарину.

Ренат Евгеньевич сидел у себя в кабинете, заваленном книгами, поверх которых лежали книги, а под книгами были книги, и на вопрос Поладина «можешь перевести?» ответил, не поднимая головы:

— Дай посмотреть.

Он смотрел долго. Дольше, чем требовалось для прочтения трёх слов. Потом положил блокнот на стол и сказал — Поладин потом не раз вспомнит, как ровно он это сказал:

— Это не греческий.

— Как не греческий? Буквы греческие.

— Буквы греческие, — согласился Зарин. — Язык — нет. Кто-то составил фразу из отдельных слов, взяв их из словаря, и склеил с ошибками, которые сделал бы первокурсник. Дословно это читается примерно так: «Тень — дар. Ложь — свет». — Он помолчал. — Своими словами: «тень — это дар, ложь — это свет». Ты понимаешь, что это значит?

— Значит, — сказал Поладин, — человек, который это вырезал, не знал языка. Фальшивку.

— Хуже, — Зарин посмотрел на него в упор. — Человек, который это вырезал, знал язык *плохо* — а решил, что знает хорошо. Это не фальсификация. Это *самоуверенность*. Убийца цитирует культуру, которой не владеет, и не замечает, что говорит на ней с акцентом лжеца. Мне представляется, Серп, что вы имеете дело с очень самоуверенным человеком, который очень хочет казаться древним.

— Гегемон, — сказал Поладин.

— Что?

— Ничего, — Поладин забрал блокнот. — Спасибо, Резец.

Он вышел, не заметив, как Зарин, оставшись один, потянулся к полке — и снял с неё словарь койне, и вернул на место, и снял опять, и остался сидеть так, глядя в стену, в то самое положение, в котором человек узнал что-то, что не может пока сказать.

Вечером Поладин вёз домой молоко и грушевый сок — Илья просил именно грушевый, у него была выработана система просьб, по которой он с отцом разговаривал о вкусах, потому что о другом разговаривать было пока не о чем, — и у подъезда, под жёлтым фонарём, стояла муха.

Декабрьская муха на подъездной двери, тёмно-медная, с синеватым отливом. Он её заметил — и не заметил, как заметил когда-то в детстве тень на стене: тень есть, но откуда — не спрашивают.

В квартире пахло пирогами. Ирина спросила, как день. Поладин сказал: «Убили фотографа. Вид грязный». Ирина сказала: «Помой руки».

Руки он помыл. А когда Ирина взяла его куртку, чтобы отряхнуть снег, из внутреннего кармана выпал блокнот. Она подняла его с пола — и не стала листать, положила на тумбочку раскрытым: так лежала страничка, открытая в полдень. Она посмотрела на неё не читая — на надстрочные значки над буквами, на их чужой наклон. Эти значки она видела в детстве, в церкви у деда, на окладах и на полях служебных книг; они значили, что буква поётся иначе, чем пишется.

— Это не поётся, — сказала она, ни к кому не обращаясь.

— Что? — Поладин вытирал полотенцем руки.

— Написано не то, что поётся. Как песня, с которой текстом сверятся, а мелодию не слышали.

Поладин взял блокнот и минуту смотрел на собственную транскрипцию. Потом сказал: «Ты это с ужина начиталась?» — и понял, что врёт плохо, а Ирина смотрит так, как смотрела всегда: не споря. Блокнот он положил в ящик, под ключи от гаража, — жест, который сам себе не объяснил.

Ужинали вчетвером. Кирилл рассказывал про зачёт по анатомии — врал ли он, не врал ли, Поладин не разбирал, — и вдруг сказал:

— Пап, а тебе эта фраза ничего не говорит? «Тень — дар, ложь — свет»?

Поладин поднял глаза.

— Откуда?

— В узкой среде погоняют. Слушатели, знаешь, тусуют с бывшими. Говорят, в городе завелся… ну, человек, который так пишет. На трупах. Говорят, это его подпись.

— Говорят, — повторил Поладин.

— Ну, слушатели, они любые слухи слушают, — Кирилл зевнул. — Студенты вообще всё слушают.

Илья смотрел на отца из-под ресниц — и Поладин поймал этот взгляд, поймал и не понял: мальчик смотрел на него не со страхом и не с любовью, а с *оценкой* — как на что-то, что нужно было решить, верить или не верить. Десять лет — возраст, в котором ребёнок ещё не скрывает, что проверяет родителей.

— Доешь суп, — сказал Поладин.

И это тоже было всё, что отличало его жизнь от его работы.

А в подвале полиграфкомбината, куда к полуночи приехала вторая следственная группа и где дежурил до утра кинолог, случилась одна вещь, которую никто не протоколировал.

Собака кинолога по кличке Рвач — видевшая за восемь лет больше трупов, чем любой из них, — вдруг заупрямилась у дальней стены. Она не пошла к столу, где работали эксперты, и не пошла к выходу: она остановилась посередине, подняла загривок и зарычала — низко, ровно, без перехода на тявканье, как рычат не на человека, а на то, что нельзя взять зубами. Кинолог дважды осадил её командой. На третий раз Рвач смолкла, но к столу не пошла. Всю ночь она просидела спиной к экспертизе — лицом к дальнему углу, где был подоконник, заклеенный в два слоя плёнки.

На этом подоконнике, в щели между рамами, до утра сидели две тёмно-медные мухи — неподвижные, как гвозди. Кинолог их заметил утром и не придал значения: декабрь, а мухи — всякое бывает, центральное отопление, ни к чему вести следствие.

Он не знал только одного — того, чего не знал ещё никто в Ксантии, от полковника, писавшего приказ о поощрении, до десятилетнего Ильи, смотревшего на отца из-под ресниц. Он не знал, что в этом подвале пахло не кровью и не свечным дымом.

Пахло тёплым, сладким, горящим воском.

«Нитка, втрое скрученная, не скоро порвётся».
Екклесиаст, 4:12

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ЧИСТАЯ СИСТЕМА

Валентин Аркадьевич Стуруа ложился спать в десять и вставал в пять — не из аскезы, а из той же экономии, по которой вёл все свои дела: сон, потреблённый в неправильные часы, не восстанавливает, а амортизирует. В пять он спускался в кабинет на первом этаже собственного дома — маленький дом в сосновом квартале, три окна на восток, — и полтора часа занимался главным делом своей жизни, которое не значилось ни в одной трудовой книжке.

Он сводил баланс.

Не денежный — хотя и его тоже. Стуруа сводил баланс системы. Двадцать лет в госбанке, семь — в аудите, потом то, что в биографии выглядело как «уход в частный сектор», а на деле было приходом: его взяли не по объявлению и не по протекции — его взяли по результату. Однажды он нашёл в чужой отчётности дыру, которую не видели три проверки, четыре ревизии и один суд, и написал о ней так, как никто не писал: не «требую принять меры», а «нахожу несоответствие в третьем контуре; предлагаю корректировку». Через две недели ему позвонили. Голос был спокойный, с лёгкой инородной окраской, и голос не спрашивал — голос сообщал: «Валентин Аркадьевич. Всё, что вы когда-либо хотели вести, вам дадут вести. Условие одно: не вести ничего, что вам не выдали».

С тех пор прошло одиннадцать лет, и Стуруа ни разу не нарушил условие.

Сеть — он никогда не называл её вслух никак, слова для этого у него не было, — не имела ни вождя, ни собраний, ни устава. У неё были стандарты. Это его всегда восхищало: структура, в которой не бывает предателей, потому что предатель должен сначала узнать, кому он служит. Стуруа знал только свой контур — юг города, четыре направления, одиннадцать человек, каждый из которых знал не больше его секретарши. Выше его стояли двое, которым он докладывал; выше тех — никто, о ком он имел сведения. А над всем этим — письма.

Письма приходили раз в две недели, в конвертах без обратного адреса, и были написаны так, что эксперт по авторскому праву подпрыгнул бы: почерк менялся, бумага менялась, стиль менялся, — менялось всё, кроме сути. Витторио писал, как аудит саму себя: короткие тезисы, нумерация, ни одного прилагательного лишнего. «Третий контур — удовлетворительно. Пятый — недопустим. Корректировку произвести до двадцатого. Зависимости устранить без деструкции, если возможно. С деструкцией, если необходимо».

И в конце каждого письма — одно слово, без подписи:

«Слышишь?»

Стуруа за одиннадцать лет привык к этому слову так, что перестал его замечать — как замечают собственную фамилию на дверях. Он принимал его за укоризну, за проверку внимания, за фирменную подпись. Он не задавал себе вопроса, почему человек, который пишет без единого прилагательного, оставляет в конце восклицательный знак вопросом. Некоторые вещи работают, потому что их не рассматривают.

Сегодня, в пятом часу утра, баланс не сходился.

Стуруа сидел над своими тетрадями — он вёл систему от руки, в тетрадях в косую линейку, купленных оптом, потому что бумага не имеет истории, — и смотрел на строку, которая не билась с остальными. Строка называлась «Гольберг, В. Н., фотоуслуги».

Гольберг был пятнадцатым звеном. Не самым важным — средним, рабочим: через него шла такая часть потока, которую неприлично назвать вслух и невозможно измерить в деньгах, потому что компромат не имеет себестоимости, он имеет только цену. Стуруа знал Гольберга в лицо — мужчина в очках, с пальцами сальника от реактивов, — и знал его цену: девять лет безупречной работы, ни одной задержки, ни одного вопроса. Идеальный узел.

А теперь узел был мёртв. Найден в подвале полиграфкомбината — со свечами, с вырезанной на груди греческой строкой, — и весь город теперь говорил об этом на кухнях, в марш-

рутках, в курилках редакций. «Сатанисты», — говорил город. «Культ», — говорили сводки. «Ритуал», — писали, с восторгом, две газеты и один канал.

Стуруа читал эти слова и чувствовал то, что чувствует бухгалтер, найдя в кассе лишнюю банкноту. Радости — ноль. Тревоги — столько, сколько бывает тревоги, когда лишняя банкнота оказывается не опечаткой кассира, а чьим-то намеренным жестом:возьми, я заплатил за право остаться в твоих бумагах.

Потому что Гольберг не был сатанинской жертвой. Гольберг был звеном. И кто бы ни отрезал его — сделал это либо случайно (что означало: в городе появился идиот с ножом, и идиот с ножом — это тоже риск, потому что на его след выйдут все, включая тех, кому не надо), либо нарочно (что означало: кто-то бьёт по системе, и бьёт так, что не оставляет следов, кроме огарков).

И то и другое было одинаково неприемлемо.

Стуруа дописал строку, поставил точку и откинулся. За окном серело. За завтраком, как всегда, жена читала вслух городские новости — она не знала, кем муж работает, и знала, что его работа скучная, — и он слушал, как она произносит слова «полиграфкомбинат», «свечи», «полиция просит помощи у населения», и кивал, и чувствовал под ложечкой холодок, который не мог назвать по имени, потому что имя ему было не положено.

На службе его ждала папка, которую он заказал накануне.

В филиале «Витторио Инвест» Стуруа появлялся дважды в неделю — формально, как «аудитор по договору», неформально, как глаза того, чьего имени не знает даже его собственная секретарша. В двенадцать он вызвал к себе начальника отдела кадров — серую женщину с голосом библиографа — и попросил личные дела трёх сотрудников, принятых в минувшие два месяца.

— Зачем? — спросила она с той интонацией, с которой библиографы спрашивают «зачем» у аудиторов, а не наоборот.

— Устраняю зависимости, — сказал Стуруа.

Женщина принесла три папки. Стуруа читал их так, как читал всегда: сначала даты, потом дыры. У первого — инженер связи — дыр не было: чистый перевод, чистое увольнение, чистая рекомендация. У второго — бухгалтер — дыра была, но объяснимая: судимость брата, снятая по амнистии. У третьего папка была тоньше остальных, и это первое, что он заметил. Консультант по девелопменту. Игорь Георгиевич Вензель. Принят по протекции — вот тут Стуруа перечитал строку дважды, потому что слово «протекция» в системе не существовало: в систему не входили по протекции, в систему входили по результату, как он сам, одиннадцать лет назад.

Он перевернул лист. Копия паспорта. Копия военного билета. Автобиография — грамотная, гладкая, написанная так, как пишут, когда знают, что будут читать: без деталей, без живых углов, без единого пятна. Единственное пятно Стуруа нашёл не в бумагах, а в памяти: он дважды видел этого консультанта в коридоре двенадцатого этажа. Оба раза мужчина шёл так, как в этом здании ходил только один человек.

Так, как будто это его здание.

— Что вы можете сказать о нём? — спросил Стуруа у кадровицы.

— Кто? — Она переглянулась с папкой. — Игорь Георгиевич? Очень уверенный. Чуть более уверенный, чем позволяет должность, — если вам это о чём-то говорит.

— Мне это говорит всё, — сказал Стуруа и закрыл папку.

Он не знал — и не мог знать, — что этот консультант есть источник всего шума, который он сегодня сводил в тетрадях с минусом. Он знал только то, что знал: в чистой системе не бывает людей, принятых по протекции, — как в чистой кассе не бывает лишних банкнот. И если консультант появился из ниоткуда, значит, кто-то его туда положил. И этот кто-то стоял либо выше Стуруа, либо — и вот здесь холодок под ложечкой возвращался — сбоку от всей

вертикали, в которой Стуруа прожил одиннадцать лет и в которой до сих пор не мог назвать ни одного этажа выше второго.

Дома, в кабинете с тремя окнами на восток, он сел писать письмо.

Письма Витторио он писал раз в месяц — но месяц этот годился только в нормальное время. Сейчас Стуруа нарушил график первым нарушением за одиннадцать лет: лишнее письмо. Он долго выбирал слова — для него это было не стилистикой, а бухгалтерией: каждое слово имело вес, и вес каждого надо было свести. В итоге письмо вышло на полстраницы. Две находки. Одна — о Гольберге: «Узел пятнадцать ликвидирован внешней рукой. Признаки внешнего воздействия: отклонение от стандартов сети в сторону театральности. Кто-то говорит с нами на языке, который мы не употребляем. Прошу распорядиться о трактовке». Вторая — о консультанте: «В пятом контуре появилось несоответствие: единица, принятая не по результату. Прошу подтвердить или отозвать».

Стуруа перечитал письмо дважды, нашёл одно лишнее прилагательное («театральности» — убрал, заменил на «чужеродности»), и остался доволен. Полстраницы — и в них вся тревога двух недель, выжатая до порошка.

Оставалось последнее. Подпись.

Витторио в своих письмах не подписывался — это было принято, и Стуруа за одиннадцать лет так и не узнал, как называется принятая у них форма завершения: это не было ни «с уважением», ни «ждём указаний». Стуруа решил одиннадцать лет назад, что письмо к человеку такого уровня заканчивается тем, чем заканчиваются его собственные письма: коротким словом, которое означает и внимание, и покорность, и готовность к звону. Он поставил в конце строки одно слово — то самое, которое стояло в конце каждого письма, что приходило к нему:

«Слышишь?»

И тут же почувствовал, что ошибся.

Не в слове — в интонации. Он перечитал письмо вслух, негромко, как читают ночью, когда не хотят будить дом, — и в его собственном голосе это слово прозвучало не как протокол. Оно прозвучало как вопрос ребёнка. Как будто он, Валентин Аркадьевич Стуруа, двадцать семь лет пробивавший счета, сводивший чужие войны в тетрадях в косую линейку, спросил в темноту: слышишь ли ты меня?

Он стёр слово. Написал вместо него сухое, должное, правильное: «Ожидаю указаний».

И тогда в кабинете — в том самом кабинете, где он прожил одиннадцать лет и где не случилось за эти годы ни одного происшествия, кроме перегоревшей лампы, — стало так тихо, что он услышал, как за окном, под карнизом, перестали скрести лапки.

Стуруа поднял глаза. Под карнизом сидела муха — тёмно-медная, крупная, с синеватым отливом на брюшке, и сидела она так неподвижно, как сидят существа, которые ждут чего-то долго и умеют ждать. В декабре. Минус двадцать за окном.

Стуруа посмотрел на неё секунды три. Потом встал, подошёл к окну и открыл форточку — жест, для которого не было ни причины, ни объяснения, и который он сам бы охарактеризовал как «проветривание». Муха не улетела. Она пересела выше, на верхний край рамы, и сидела там, пока он не закрыл форточку. Из спальни скрипнула дверь.

— Ты форточку открывал? — спросила Зоя Михайловна, стоя в проёме в халате и с ботинком в руке. — Печка всю ночь выла. У нас тепло ушло в окно.

— Проветривал, — сказал Стуруа. — Стало душно.

— В минус двадцать — душно. — Она посмотрела на него так, как смотрела тридцать лет: с той улыбкой, которой жёны прощают мужьям мелкое враньё, не зная, в какой огромной правде оно лежит. — Спи уже.

Дверь закрылась. Стуруа сидел над сводкой ещё три часа, и всё это время у него в поднятой руке было ощущение форточки — жест, которого он не помнил, чтобы совершал.

В доме всю ночь пахло тёплым, сладким, горящим воском. Стуруа не спал до четырёх, читал сводку происшествий за месяц и нигде — ни в одной строке, ни в одной дате — не нашёл того, что искал: объяснения, откуда в его чистой системе берётся шум. И не заметил главного — того, чего не заметил бы и любой, и потому не заметил никто: в сводке, на странице девятой, между «пожаром в частном секторе» и «нападением на сторожа склада металлолома» не было ни одной строки о человеке, который дважды за месяц поправил лацкан чужим жестом.

А письмо тем временем ушло.

Оно лежало в почтовом ящике на набережной, в конверте без марок, с пятницы, и его должны были забрать в понедельник, — и в этом была ещё одна неточность, ещё одна дыра, которую Валентин Аркадьевич Стуруа не нашёл, потому что не знал, что искать: он думал, что пишет в сеть.

Он писал не туда.

«Все пути человека чисты в его глазах; но Господь взвешивает души».
Притчи, 16:2

ГЛАВА ПЯТАЯ. МАЙЕВТИКА

Комната для допросов в управлении была выкрашена в серый цвет, который проектировщики, наверно, считали нейтральным, а он был цветом забвения: в нём не тонул и не светился никто. Ренат Евгеньевич Зарин вошёл в неё в девять сорок и первым делом потрогал батарею. Батарея была горячая. Он открыл форточку.

Задержанного привели через десять минут.

Звали его Эдуард Кулагин, тридцать четыре года, оформитель рекламного агентства «Растр»: худое лицо, обкусанные ногти, глаза, которые двигались быстрее головы — глаза человека, который просчитывает пути к дверям. При задержании он вёл себя тихо. Улики при нём лежали в пакете и были так хороши, что Зарин, листая опись, испытал то редкое чувство, которое испытывает сапожник, рассматривающий чужую работу: восхищение — пополам с завистью и отвращением.

Воск — та же тёмная вощина, что в огарках на груди убитого. Свечной нож со следами того же воска. Чеки на покупку воска — три, в разных магазинах, с интервалом в неделю: аккуратный человек, который знал про чеки и потому дробил покупки. Трафарет пятиконечной звезды — вырезанный из плотной плёнки, с обугленными краями. И записка в почтовом ящике — анонимная, печатными буквами: адрес подвала, время. Всё. Абсолютно всё, что нужно для обвинительного приговора, и ничего, что нужно для правды.

— Здравствуйте, Эдуард, — сказал Зарин, садясь. — Я не буду вас пугать.

Кулагин дёрнулся — так дёргаются, когда ударили не туда, куда ждали.

— Я хочу вам рассказать одну вещь, — продолжал Зарин ровно, без нажима. — Сократ в суде отказался плакать и просить. Он сказал: судить надо истину, а не слёзы. Я вам не Сократ, и вы не на суде. Но правило я себе поставил то же. Я не буду вас пугать. Я буду вас спрашивать. Отвечать или не отвечать — ваше право. Устраивает такой порядок?

Кулагин кивнул. Он не понимал, где здесь подвох, и потому уже был наполовину пойман: человек, который не понимает, где подвох, начинает искать его вместо правды.

— Расскажите про воск.

Воск оказался простой историей. Кулагин рассказывал сбивчиво, потом ровнее: в конце октября в агентство поступил заказ. Частный. Оплата — наличными, налом, в конверте, с надбавкой «за режим». Заказчик — мужчина средних лет, «из стройки, или из конторы — не разберёшь, такие все на одно лицо». Нужна была инсталляция: инсталляция для закрытой вечеринки, тематическая. Свечи. Звезда. Надпись на манекене.

— Свечи горели? — спросил Зарин.

— Ну да, он просил примерить. Я жёг образцы у себя в мастерской, мерил, как стекают. Он сказал: воск должен течь медленно. Чтобы капля жила, — Кулагин вдруг шевельнул губами, подбирая чужую формулировку, — вот, дословно: «чтобы капля жила, а не умирала». Я думал, у них там арт-тусовка, у этих… с тёмными тематиками — у них всегда так: капля живёт, древо знаний, чакры. Я двадцать лет оформляю чужие фантазии, я уже не удивляюсь.

— А надпись?

— На манекене? Плёнку вырезал, по его слогам. Он диктовал, я записывал. — Кулагин помолчал. — Слушайте, а он… он же не в этом подвале свечки ставил? Я прочитал в газетах. Свечи — это же не я…

— Мы разберёмся со свечами позже, — сказал Зарин мягко. — Скажите про диктовку. Как он диктовал?

— По слогам. Медленно. Я записывал латиницей, потом перекладывал на греческие буквы — он дал распечатку алфавита, из интернета, там табличка такая есть… — Кулагин вдруг замялся, и на лице его отразилось то самое воспоминание, ради которого Зарин, соб-

ственно, всё это затевал. — А, вот. Он повторял с ударением не туда. Я запомнил, потому что смешно было: серьёзный такой, дьявольская тематика, а коверкает, как иностранец. Я думал — прикол заказчика. Такие бывают.

— Покажите, как он повторял.

Кулагин повторил. Зарин слушал и чувствовал, как внутри, под рёбрами, медленно встаёт на место деталь, которую он носил в себе со дня морга. Ошибки в греческом на груди убитого были ошибками не пишущего — ошибки пишущего лежат в буквах, а тут ошибки лежали в *звуках*: фраза была составлена на слух. Тот, кто её сложил, никогда не читал этого языка. Он его *слушал*. Годами слушал, из уст другого, — и теперь по слогам воспроизводил, как воспроизводят молитву, смысла которой не знают.

Кто слушает мёртвый язык годами? — спросил Зарин у себя. И не ответил. Пока.

— Теперь про заказчика, — сказал он вслух. — Не лицо — лица мы построим потом, с художником. Манеры. Что он делал руками?

Кулагин смотрел на него с недоумением.

— Ну… руки? — Он задумался. Потом на лице его проступило. — Поправлял лацкан. Постоянно, через раз. Вот так — снизу вверх, большим и указательным. — Он показал: щипок, движение снизу вверх. — Я думал, привычка у человека. Знаете, как бывает: у всех жестов свой полный набор, а у человека одна — и она как клеймо.

— Клеймо, — повторил Зарин.

— Ну, да. По клейму человека и узнаёшь. У нас в агентстве фокусника одного звали… впрочем, неважно. — Кулагин поглядел на пакет с уликами, потом на Зарина, и спросил тихо, впервые за допрос по-настоящему: — Слушайте. Это же меня подставили, да? Воск мой, чеки мои — а свечки на том человеке стоят мои. Я ж их резал по его схеме, он мне цифры давал — куда какие, в каком порядке жечь… Я же не убийца. Я реквизит сделал. Как для праздника.

Вот здесь наступил момент, ради которого Зарин двадцать лет носил в себе слово «майевтика» — повивальное искусство, у Сократа: истина не пересаживается из одной головы в другую, она рождается, и задача собеседника — принять роды. Он наклонился вперёд. Пауза. Ещё пауза. Он задал вопрос не о деле — о человеке:

— Эдуард. Ты веришь в то, что рисуешь на стенах?

Кулагин моргнул. Потом — и это был лучший его ответ за всё утро, ответ, который запомнится Зарину дольше, чем любой признанный:

— Я верю в эффект.

— В эффект?

— Ну да. — Кулагин поводил ладонью по воздуху, как по невидимой стене. — Люди приходят на вечеринку, видят вот это всё — свечи, звезду, надпись — и у них мурашки. А мурашки — они же настоящие. Дьявола не надо, чтобы человек испугался дьявола. Достаточно реквизита. Я двадцать лет это делаю. Никто ещё не отличил.

Зарин откинулся на спинку стула.

И вот тут, в этой точке — в точке, где майевтика всегда до сих пор рождала ему истину, — случилось то, чего не случалось никогда. Истина родилась. Она вышла из Кулагина легко, с криком, как положено, — и оказалась пустой. В ней не было ни культа, ни веры, ни чернокнижия, ни мести: не было ничего, на что можно было бы опереть приговор, версию, сюжет. Был заказ. Был эффект. Был мужчина, который диктовал по слогам и поправлял лацкан, и была фраза, которая означала, если переводил Зарин, «тень — это дар, ложь — это свет», — и фраза эта была не исповедью убийцы, а *сценарием*. Кто-то ставил в Ксантии спектакль о сатанистах — и город, и следствие, и федеральные сводки послушно играли в нём массовку.

Майевтика не работала на пустоте. Майевтика рождала истину — но никто не обещал, что истина будет иметь дно.

— Протокол с вас возьмёт другой следователь, — сказал Зарин, поднимаясь. — Я вам больше не нужен.

— А что со мной будет? — спросил Кулагин из-за стола, тонким голосом.

— Не знаю, — сказал Зарин честно. — Это теперь зависит не от меня.

Серп он нашёл у себя в кабинете — тот стоял у окна и смотрел вниз, на парковку, с тем лицом, с которым Поладин смотрел всегда на что-то, что уже решил.

— Признание нужно мне к пятнице, — сказал Поладин, не оборачиваясь. — Прокуратура перегружена, дело у всех на слуху, город требует. У тебя там исполнитель сидит — с воском, с чеками, со звёздным трафаретом. Дай мне признание — и к выходным у нас будет дело, а не лоскут.

— Признание нельзя дать, — сказал Зарин. — Его можно родить. А родить я его не могу, потому что рожать пока нечего.

— Что значит нечего? Улики есть.

— Улики есть, — согласился Зарин. — А правды нет. Сергей Романович, я тебе как коллега скажу то, что коллегам не говорят: человек, который сидит у меня в подвале, — оформитель. Он сделал реквизит для чужого спектакля и сам не знает какого. Убивал не он. И — я боюсь произносить это вслух — может быть, в этом городе вообще никто никого не убивал ради дьявола. Может быть, дьявола здесь нет совсем. Есть постановка. Мы играем в спектакле и не знаем, на каком свету.

Поладин обернулся. В глазах у него было то, что Зарин видел редко: непонимание — не умственное, а волевое. Он не понимал не фактов — он не принимал мира, в котором факты могли значить такое.

— У меня серия, — сказал он тихо. — Ритуальные убийства. Гегемон. Ты сам говорил: система, дисциплина, регламент.

— Я говорил про то, что вижу, — сказал Зарин. — Я теперь вижу ещё и театр. И я не знаю, что из этого правда, — а это, если хочешь знать, самый страшный приговор, который я в жизни выносил чужому делу: не знаю.

— Тогда молчи, — сказал Поладин. — У тебя право молчать. А у меня право работать. К пятнице.

Он вышел. Зарин остался стоять у окна, и в нём, впервые за много лет, происходило то, для чего у него не было слова: он знал правду — и не мог её сказать, потому что правда была недостаточна, а молчание — достаточно. Честность, его оружие всю жизнь, впервые стреляла в холостую: истина без дна не убивала ничью версию. Она только ранила того, кто её держал.

Ночью, в кабинете, где книги лежали на книгах, он достал словарь койне и ещё раз прошёлся по вырезанной строке — по ошибкам, по ударениям, по слоговой косности чужой диктовки. Потом взял блокнот и написал от руки:

Фраза составлена на слух. Составлявший не учил языка — он его слушал. Кто-то слушал мёртвый язык годами, из уст другого, и запомнил не смысл — звучание.

Он посмотрел на строчку. Строчка просилась к продолжению — слово напрашивалось само, как напрашивается фамилия, когда узнаёшь походку. *Кто в этой стране слушает греческий из уст другого?* Переводчики. Востоковеды. И ещё — люди, которые годами стоят рядом с тем, кто говорит.

Зарин поднял перо над бумагой — и не написал.

Он не знал, почему не написал. Просто что-то во множестве улик, в аккуратности, в чеках, дроблённых с интервалом в неделю, вдруг сказал ему тихо и страшно: не торопись. К этому слову надо прийти не сразу. К этому слову надо прийти так, чтобы назад уже не было дороги.

За окном, на наружной стороне стекла, сидела муха. Минус двадцать. Зарин заметил её, посмотрел секунды две — и отвернулся к блокноту. Он замечал всё, кроме того, что следовало бы.

«В сердце человека — как в глубокой воде, и человек разумный достаёт его».
Притчи, 20:5

ГЛАВА ШЕСТАЯ. СИРИЯ

Пыль в Пальмире была не как в России. Русская пыль — серая, тяжёлая, честная: лежит, где лежит. Сирийская пыль была светлая и летучая, и к концу первой недели Вензель понял, что она не оседает — она *живёт* в нём теперь, в волосах, в складках халата, между зубами, и никакая вода этого не вымоет. «Ты теперь носишь пустыню», — сказал ему доктор в лагере, смеясь. Вензель не засмеялся. Он не любил, когда вещи, которые он не выбирал, входили в него так глубоко.

Это было в тринадцатом году. Он был «специалистом по международным коммуникациям» — переводчиком, прикомандированным к группе охраны археологического депо, — и ничем в этой должности не занимался, потому что переводить было не для кого: депо охранялось, а не посещалось. Он сидел в комнате с вентилятором, курил папиросы, отсылал домой рапорты, от которых тошнота бывала у него самого, и смотрел на пальмы — на те две, что стояли у въезда, живые, среди мёртвого камня мёртвого города. Двадцать пять лет. Служба, о которой он мечтал с курсантской скамьи, была вот этим: вентилятор, пыль, скука, от которой начинали ситься вещи, о которых не рассказывают в роте.

А потом начался ветер. Не пустынный — ветер другой природы: заслышали о нём сначала по радио, потом по голосам, потом по тому, как за одну ночь опустела дорога на Хомс. В октябре к городу подтянулись те, кого в сводках называли группировками, а в лагере — попростому. И группа охраны, двадцать человек, из которых половина не умела зарядить автомат со второй попытки, оказалась сторожами не депо, а чужой жизни — своей собственной.

Но об этом — позже. Потому что Вензель помнил ту осень не по обстрелам. Он помнил её по колонне.

Раз в две недели из Халеба в депо приходила машина с продовольствием и — главное — с человеком. Человек был майором, и фамилия его в лагере не произносилась: его звали «господин майор», и это не было неуважением — это был страх, доведённый до вежливости. Он приезжал с проверкой: сверял учёт ящиков, пересчитывал замки, читал журналы наблюдения — и читал их дольше, чем читали любые другие, потому что у него была привычка читать не строку, а почерк. Вензель однажды видел, как он вернул журнал дежурному и сказал: «Перепишите. Вы писали это в восемь и сорок, а почерк живой. Восемь и сорок — это ложь, написанная в полдень». Дежурный переписал. Вензель запомнил: этот человек не разбирает бумагу. Он разбирает человека через бумагу.

Всё остальное Вензель узнавал по вечерам — по главному спектаклю тех месяцев, о котором не писали ни в одной сводке.

По своему расписанию, раз в неделю, господин майор собирал людей — не всю группу, а четверых, самых спокойных, — и они сидели в отбитой от ветра комнате, в дальнем крыле, где стояли ящики с новейшей поступью, и разговаривали. Вензель не был в их числе. Но стена была тонкая, а его голос — тот голос, о котором говорят: «слышно за версту», — был громкий, с этими гортанными эр, и Вензель сидел у стены в своей комнате с выключенным светом и слушал.

Разговор шёл на смеси русского и древнегреческого — и это было первое, что не давало ему уснуть. Начинаясь с рутины — сбои снабжения, слабость охраны, предательство торговцев в Хомсе, — речи всё дальше уходили в то, что было не докладом, а видением. Человек говорил о мире без границ. Не о мире, где границы снесли, — о мире, в котором границ никогда не было: об Ойкумене, единой, от пролива до пролива, от снега до прилива, управляемой не болтовнёй парламентов, а системой. Порядком. Тем, кто строит порядок, не спрашивая у порядка разрешения.

— Рим рухнул не от варваров, — говорил голос через стену, и Вензель слышал, как под словами движимая мысль, как под льдом движется вода. — Рим рухнул, когда остановился строить. Империя — это не территория. Империя — это система, которая воспроизводит себя сама. Греки называли это космосом: не «мир», а «уклад». Уклад, в котором вещь знает своё место. Всё, что мы зовём хаосом, — это не отсутствие системы. Это система, построенная кем-то хуже нас.

И тогда он переходил на греческий.

Вензель не знал греческого — в этом и была ловушка, и в этом же была его судьба. Он не понимал слов. Но он понимал *звук*: древний язык на устах этого человека звучал не как учёность — как приказ. Фразы падали, как камни в воду: короткие, весомые, с ровным, спокойным ритмом, от которого спина сама выпрямлялась. И среди этих фраз одна повторялась — Вензель слышал её каждый раз, в конце, как заклинание, как аминь: короткое слово, с ударением на первый слог, за которым следовала длинная, тяжёлая фраза, потом снова короткое слово. Слово он запомнил по звукам — «ге-ге-мон» — и выговаривал его про себя, в темноте, как выговаривают новое имя Бога: осторожно, примериваясь, не испортив.

Гегемон. Он узнал значение через полгода — уже в другом месте, по словарю, украденному из брошенной школы: «гегемон» — «ведущий, вожак, тот, кто идёт впереди». Всё сходилось. Голос через стену говорил об Ойкумене — и называл себя тем, кто пойдёт впереди.

Вензель не знал, что этот голос был не один.

Голос разговаривал не только с людьми. Иногда — и это Вензель заметил не сразу, а заметив, не смог потом отогнать, — майор разговаривал ни с кем. Паузы были слишком длинные и слишком правильные для молчания: в них помещались реплики. Собеседника не было видно, а ход беседы был виден, как ход шахматной партии по пустой доске: майор кивал, слушал, чуть хмурился, отвечал. В лагере объяснили это по-своему — «у человека награда побольше, у него своё сальто» — и замолчали, потому что о господине майоре лишних слов никто не говорил.

А в ноябре пришло то, что Вензель потом всю жизнь считал первой сценой своей настоящей биографии.

Обстрел. Не ожиданный, не «по расписанию»: мины легли на восточный периметр в сумерках, без свиста, сразу во взрыв. Вензель лежал в воронке — он не помнил, как в неё попал, — лицом в пыль, и в голове звенело так, что он не слышал ни взрывов, ни криков, ни ничего. Мир кончился. Был только звон — тонкий, на одной ноте, как провод под током, — и пыль, которая входила в рот и не выходила. Он лежал так, как лежит утопленник на дне: живой, но уже не в среде.

И сквозь этот звон — по частоте, не громкостью — пришёл голос.

Голос был в соседней воронке. Это он узнал потом, позже, когда разбирал этот вечер по крошкам, как разбирают подарок: голос был оттуда, из двух шагов. Но тогда, оглохший, он не знал расстояний — он знал только то, что слова шли сквозь звон, как свет сквозь штору, и были на греческом, и были произнесены так, как не произносил их в комнате с ящиками: не для людей. Быстрые, короткие, страшные — человеку под миномётным огнём, который просит что-то не человеческим словом.

А потом рукопашная. Он не видел её — он только слышал сквозь звон: тяжёлое дыхание, удар, удар, звук, который тело не издаёт при живом, крик — не боевой, детский, арабский, — и всё. Потом голос снова, уже на русском, уже ровный, как бухгалтерская строка: «Прошу прощения. Не следовало».

Вензель не выходил из воронки, пока не стемнело. Он лежал и смотрел, как в двадцати шагах от него горит — или не горит, он не знал уже, что видел, — что-то, что было зданием или не было, и в голове, впервые за все эти месяцы, не было ни одной мысли. Был только звон — и то, что он потом, спустя годы, назовёт своим рождением: мысль, которая в том звоне была ещё не словами, а просто знанием, как знание о смерти:

всё держится на том, кто держит. Хочешь стоять — стань тем, на чём держится.

Он не знал, чья это была мысль — его или голоса из воронки. Это и было рождением: мысль вошла в него, как пыль — между зубами, в складки халата, без спроса. Он встал и пошёл в сторону лагеря, и от счастья, которое было ему тогда непонятно, у него тряслись губы.

Господин майор уехал на следующее утро. Вензель видел его у машины — повязка на левой кисти, лацкан, поправленный тем движением, которое запомнилось ему позже и навсегда, снизу вверх, большим и указательным, — и он не подошёл. Он стоял в тридцати шагах и смотрел, как тот садится, как машина разворачивается, как пыль от колёс ложится на дорогу Хомса. Подойти он не смог. Не потому, что не решился. Потому что не было слов, которые стоили бы такого человека: всё, что он мог бы сказать, было бы меньше того, что он слышал через стену.

Он вернулся в свою комнату с вентилятором. И в ту ночь — в ночь, когда над Пальмирой где-то на востоке гремело и когда всю базу будил один-единственный выстрел, короткий, «из пистолета, из хозблока», как шептали потом до самого рассвета, — Вензель взял лист бумаги и, не помня себя, написал на нём по-русски, крупно, с нажимом, с теми росчерками, которые потом шли за ним всю жизнь:

Всё держится на том, кто держит. Хочешь стоять — стань тем, на чём держится.

Потом — ниже, ещё, тем же почерком, без зазора между строками, как пишет человек, у которого внутри идёт не запись, а диктант:

Рим рухнул, когда остановился строить. Империя — это не территория. Империя — это система, которая воспроизводит себя сама.

И ещё — ниже, уже мелко, уже не как фраза, а как заговор:

Гегемон.

Он не знал, что это не его.

Голос через стену говорил по-гречески. Утренние и вечерние речи господина майора Вензель слышал много раз — но слышал *звук*, не словарь; он не знал языка, и потому, когда год спустя, в другом месте, он стал складывать из тех звуков «свои» фразы — складывал он их так, как складывают молитву из чужих обломков: по памяти о звуке, а не о смысле. И потому его мантры были не цитатами. Они были *подделкой под цитаты* — сделанной человеком, который гениально копировал чужой почерк и не знал, что в оригинале было написано. Звучали они чуть иначе, чем те, что он слышал: чуть длиннее, чуть пышнее, чуть крикливее — не голос, а подражание голосу. Он этого не слышал никогда. Он был уверен, что говорит словами того, кому не смог ничего сказать.

А в депо, в дальнем крыле, за три замка, лежали ящики. Не с продовольствием и не с боеприпасами. В них, перевязанные промасленной тканью и подписанные карандашом по-арабски и по-гречески, лежали свитки — те самые, за которыми в конце концов и приехала война: человек, не знавший греческого, и демон, знавший слишком хорошо, стояли теперь по разные стороны одной стены — и не знали друг о друге ничего.

«Дам тебе сокровища, скрытые в потёмках, и тайны, чтобы ты познал, что Я — Господь».

Исаия, 45:3

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. НАБЛЮДАТЕЛЬ

Мужчина, за которым Канов смотрел уже четвёртые сутки, жил на Лесной, семь, второй подъезд, и выходил в семь двадцать — точно, как метроном, которого завели не для музыки, а для порядка.

Наблюдение Канов вёл без машины и без оптики: пешком, в сумке-мессенджере через плечо, с планшеткой в кармане и тетрадью в узкой клетку. Он не доверял технике в таких делах принципиально — не из ностальгии, а по расчёту: техника пишет то, что она видит, а он хотел писать то, что он понимает. Разница между этими двумя знаниями — разница между протоколом и делом.

Объектом был Стрельцов. Опер портового управления — теперь уже бывший: месяц назад его «перевели» консультантом по безопасности в филиал «Витторио Инвест», и перевод был смазан аккуратной бумажкой об увольнении «по собственному». Год назад Стрельцов две недели стажировался у Канова — перед тем, как вернуться в порт, — и Канов запомнил его не за сообразительность (сообразительности было немного), а за один вечер на кухне в отделе, когда Стрельцов, разомлев от чужого чая, сказал три фразы. «Витториевы деньги уже в порту». «Вал крутится чёткий, без сучка». «И одна подпись на всех бумагах — понимаешь, одна». Тогда Канов отмахнулся: болтун, слыхал звон в чужом колоколе. Три недели назад, в коридоре управления, Стрельцов остановился напротив него, побледнел и сказал, тихо: «Дмитрий Остапович, я, наверно, наговорил лишнего в своё время. Вы это… не увольняйте меня совсем». И ушёл, не объяснив, кого боится.

Канов не увольнял — Канов не имел такой власти. Канов сделал то, что имел право: завёл тетрадь.

Метод свой он называл «наружной решёткой». Объект не надо преследовать — объект надо картировать. Дом, работа, гараж, аптека, вторая квартира, которую он не записывал в декларации, — точки, в которых человек существует. Восемь точек — и человек перестаёт быть человеком и становится фигурой на карте. С фигурой на карте работать проще: её не жальче столба.

Четвёртый день дал Канову пятую, шестую и седьмую точки — и одну нечаянную находку, ради которой стоило мёрзнуть на углу все четыре утра.

В четверг, около половины второго, Стрельцов вышел из офиса на набережной не с Вензелем, а с другим — упитанным, в очках с толстыми стёклами, какие носят люди, постоянно перечитывающие мелкий шрифт. Они сели не в машину Стрельцова: в серый «пасат» с грязными номерами — грязными так, что на месте цифр осталось пятно, как будто номера замазали торопливо и изнутри. «Пасат» покатал их сорок минут по набережной — по одному и тому же кольцу, три круга, — потом остановился у рынка на Заводской. Стрельцов вышел, простоял у прилавка с зеленью минуты четыре — Канов засекал по часам, глядя на собственное отражение в витрине аптеки, — купил пучок укропа и ушёл пешком. Упитанный остался в машине. Машина уехала в сторону кольцевой.

Никаких передач Канов не видел. Он вообще не видел ничего — и именно поэтому записал в тетради строку, обведя её в кружок: *«Пасат», серый, грязные номера; рынок Заводская; пятница, 13:00; передача укропа — 4 минуты*.

Укроп был явно не укропом. Человек, который живёт в декларациях, не ездит за укропом на сером «пасате» с замазанными номерами.

Дома, в кабинете, где на полках стояли книги по криминалистике вперемешку с книгами по истории, Канов разложил перед собой вторую тетрадь — ту, в которой вёл не людей, а время. По горизонтальной оси шёл год. По вертикальной — фамилии.

Он собирал эту карту месяц — тихо, в свободные от службы вечера, потому что официально исчезновения городских обывателей не были делом следователя по особо важным: они были делом аналитики, сводок и «розыскного отдела». Но Канов заметил то, чего не заметила аналитика: последовательность.

Уходили люди. Не пропадали, как пропадают пропащие, — уходили, оставляя аккуратные следы: заявления, расписки, переводы. Водитель рефрижератора, который «уехал на заработки» и не писал месяц. Экспедитор с тамошнего холодильного комбината, чья сестра подала заявление и через неделю его забрала, потому что брат «нашёлся» и позвонил, и голос был бодрый, только разговор какой-то правильный, как в учебнике. Кладовщик, у которого не найдено ни одного долга, ни одного конфликта, ни одной причины — и который исчез со всеми вещами и без машины.

Сначала — периферия. Водители, экспедиторы, кладовщики: люди, чьи должности не попадают в протоколы. Потом — середина: аудитор, инженер связи. Потом — верх: начальник отдела сертификации, замначальника имущественного управления.

Периферия, середина, верх. Снизу вверх.

Канов смотрел на эту лестницу и думал не о преступлении — о стройке. Так не вербуют: вербуют сверху вниз, покупая головы. А так — *выстраивают*: сначала фундамент, потом несущие, потом кровлю. Кто-то в Ксантии не собирал банду. Кто-то набирал гарнизон.

И тогда, на этой лестнице, в самом низу, у самого фундамента, стояло имя, которое Канов не ждал.

Секретарь судебного участка номер четыре. Человек, через которого в декабре прошлого года шли бумаги по трём арбитражным искам к портовому терминалу; человек, чья подпись стояла на уведомлении, треснувшем в первой инстанции и тем самым подарившем истцам — фирме с итальянской регистрацией — право на обеспечительные меры; человек, который исчез за восемь дней до того, как на верхнюю ступеньку лестницы встал замначальника имущественного управления.

Канов сидел над этим до полуночи. Складывалось слишком хорошо — а хорошее сложение в его ремесле всегда имело две причины: либо ты гений, либо тебя ведут. Гения в себе он не подозревал — за пятьдесят три года жизни он успел составить о себе честное мнение.

И он написал на полях, мелко, от руки, то, что не сказал бы вслух ни под какой присягой:

Сетка — не хаос и не покушение. Сетка — курс молодого бойца. Кто-то ведёт набор в армию, которой никто не объявлял войны.

Потом, после долгой паузы, добавил вторую строку — уже не наблюдение, а лезвие, обточенное до бумажной кромки:

А если война уже идёт — просто не с нами?

В пятницу утром из прокуратуры позвонили.

Звонил помощник прокурора — вежливый человек, которого Канов знал по бумагам, но не по голосу. Голос был идеальный: без намёков, без давления, без всего. «Дмитрий Остапович, по вашему материалу по исчезновениям: прокуратура интересуется, есть ли угроза общественной безопасности, и просит держать нас в курсе. Удачи вам в работе».

— Спасибо, — сказал Канов. — Буду в курсе.

Он положил трубку и минуту смотрел на неё.

Слова были пустые — и потому страшные. Этот материал он завёл сам, в тишине, по собственной инициативе; он не давал ему хода, не просил грифа, не просил ресурсов. А материал, между тем, был закрыт — с ограничением на рассылку, что для пачки бытовых пропаж было абсурдно: гриф, который мог наложить только кто-то с доступом выше его уровня. Кто-то положил его папку на свой стол. Кто-то её читал. И — вот это было страшнее всего — не останавливал.

Звонок помощника означал одно из двух. Или наверху кто-то интересуется его работой из чистого любопытства, — чего не бывает. Или наверху кто-то проверяет, насколько он уже близко. Тоже не бывает — как правило.

Канов вынул тетрадь и напротив строки с «пасатом» вписал следующую:

Материал закрыт грифом, который не положен. Кто-то выше читает и молчит. Значит, мне нужно не больше доказательств. Мне нужно больше людей, которые знают то, что знаю я.

Он перечитал строку и усмехнулся — сухо, в пустой кабинет. Получалось, что он собирает присяжных из тех, кого боится. Так начинается либо дело, либо сумасшедший дом; отличить одно от другого можно было только в конце.

Асланян позвонил в одиннадцать вечера.

— Дмитрий Остапович, ты не спишь? Я по Стрельцову. Вчера, в час дня, он вышел из офиса с мужиком, которого я не знаю, — не Вензель, другой, упитанный, в очках, как у учителя. Сели в серый «пасат» с грязными номерами. Покатались сорок минут по набережной, три круга. Потом «пасат» встал у рынка на Заводской, Стрельцов вышел, простоял у зелени минуты четыре — купил пучок укропа, представляешь, — и ушёл пешком. Больше я его не видел. А «пасат» ушёл на кольцевую и растворился. Что это было?

— Это был обмен, — сказал Канов. — Не денег — информации. Или присяги.

— Присяги? — Асланян запнулся. — В смысле, клятвы?

— В том смысле, что присягу не подают по телефону, Асланян. Присягу подают на глазах у тех, кто будет проверять. Деньги шлют по счетам — это дёшево и ищется по выпискам. А лояльность — через рынок, среди ящиков с капустой, на глазах у бабушек, потому что на глазах у бабушек не ищет никто. Ты запомнил номер?

— Грязный. Но я сфоткал, пока они стояли. Только там одно пятно вместо цифр.

— Пошли мне.

Он открыл фото на планшете и долго смотрел на размытое пятно — так смотрят на карту континента, который обязан существовать по расчётам, но не существует. Потом достал блокнот — старый, с первыми строками дела, — и добавил в столбец очередную запись. Столбец к этому времени уже был не списком, а хором: «Р. Е. З.», «С. Р. П.», «Д. О. К.», «Витторио», «одна подпись на всех бумагах», «гриф, который не положен». Теперь в хоре появился новый голос — «пасат» с пучком укропа.

Канов отложил ручку. За окном серела декабрьская ночь; радиатор тихо стучал, отсылая тепло в чужие трубы. Он думал о Стрельцове — о человеке, который год назад сидел на его кухне и боялся не за деньги, а за слово «одна подпись», потому что уже тогда понимал, во что вписался. И о том, что сам Канов — следователь, перевернувший в жизни больше дел, чем читал книг, — в этом деле до сих пор не имеет ни одного показания, ни одной расписки, ни одной улики, которая выжила бы в зале суда. Он имеет только лестницу снизу вверх, замазанные номера и укроп.

Хорошая работа, Дмитрий Остапович, — сказал он себе с иронией, которую в управлении звали его фирменным юмором. — Через год всё это можно будет напечатать на салфетке в столовой и подать как бред. — Он замолчал, глядя на лестницу исчезновений. — Или передать в прокуратуру как план строительства. Смотря чем закончится.

Он выключил лампу — и именно в этой темноте, за секунду до того, как глаза привыкли, увидел то, чего не видел под светом: на карнизе, там, где штора примыкала к петле, сидела муха. Тёмно-медная, крупная, с синеватым отливом на брюшке. Декабрь. За окном минус двадцать два.

Муха не двигалась. Она сидела так, как сидят те, кому платят за ожидание, — и Канов, хороший наблюдатель, смотрел прямо на неё и не видел её, потому что не искал.

Через час он уснул. Муха осталась до утра — и улетела с первым светом, тем же ровным, беззвучным движением, каким в этом городе всё сходило со своих мест: без следа, без свидетельств и без спешки.

«Очи Господа на всяком месте: они видят злых и добрых».
Притчи, 15:3

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. КУЛАГИН

Его выпустили в четверг, в четыре пополудни, — и в шесть о нём знали все.

Утечка вышла аккуратная — без имени, без статьи, но с деталями, которые делают новость мясом. До Нового года оставалось шесть дней, и город хотел «злоумышленника» к ёлке. «Установлен исполнитель по делу о ритуальном убийстве. Мужчина, работавший в сфере оформления праздников. Задержан с вещественными доказательствами. Следствие собирает материалы». Телеграм-каналы добавили то, чего не было в тексте: фото мастерской с манекенами, размытое, снятое из-под мышки; слово «сатанист»; и смайлик со свечой — в трёх вариантах, включая анимированный.

Кулагин выходил через служебную дверь, но это уже ничего не решало: его сфотографировали у подъезда, и фото стало сначала новостью, потом мемом, потом его лицом. Хуже того — мемом стала его работа. Трафарет звезды, который он вырезал для «закрытой вечеринки», теперь красовался в ленте рядом с лицом убитого фотографа, и подпись под ним читалась однозначно: вот что делал этот человек. Вот его художество.

Через двадцать минут после выхода позвонил директор агентства. Разговор был короткий — директор был человечный, и в этом была беда: человечные люди не умеют врать.

— Эдик. Ты понимаешь.

— Понимаю, — сказал Кулагин.

— Мы тебя не считаем. Я лично не считаю. Но у нас три крупных клиента и тендер, и... ты понимаешь.

— Понимаю.

— Держись. Там разберутся.

Кулагин положил трубку и подумал, что «разберутся» — это слово, которым успокаивают тех, кого уже решили. Двадцать лет он делал эффект для чужих праздников — и вот теперь эффект сделали из него: партия декораций, случайно оставшаяся на сцене после спектакля. Он стоял посреди своей мастерской — манекены, банки с воском, стол, пахнущий скипидаром, — и впервые за много лет смотрел на своё ремесло со стороны. Со стороны оно не выглядело невинным. Со стороны оно выглядело тем, чем его назвали.

Он не плакал. Плевать он хотел на город — он хотел спать. Но сон не приходил, и тогда, часа в два ночи, он сделал то, что умел лучше всего: начал разбирать макет. Только на этот раз макетом было убийство.

Он восстанавливал заказчика так, как восстанавливают чужую инсталляцию по фото: по фрагментам.

Первое. Человек приходил дважды — во второй раз привёз «презентацию»: планшет, на котором были фотографии. Не свои — чужие. Кадры со свечами и звездой, снятые где-то в подвале, с тем же воском, с той же аккуратной расстановкой. Кулагин тогда думал: референсы, нормальная практика, люди всегда показывают, что хотят получить. Теперь он думал другое: человек показывал емууже сделанное. Он не заказывал инсталляцию — он доводил её до тиража. Как сапожник приносит сапогу, сшитому по чужому эскизу, не последний лекало, а последний масштаб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.